
Марк Бельтрами
БЫВШАЯ ЖЕНА ГЕНЕРАЛА-ДРАКОНА
или Аптека для всего гарнизона

Марк Бельтрами

Бывшая жена генерала-дракона, или Аптека для всего гарнизона

«Автор»
2026

Бельтрами М.

Бывшая жена генерала-дракона, или Аптека для всего гарнизона / М. Бельтрами — «Автор», 2026

«Двор прислал мне жену. Ты свободна, Амира. Караван уходит на рассвете». Семь лет я была женой генерала Касима Дархана, и он сказал это, глядя мимо меня.Мы поженились по сговору отцов, а не по любви. По закону Захира отпущенная жена сохраняет своё ремесло. Я травница, и уходить не собираюсь.Я открыла аптеку у ворот цитадели. Скоро в гарнизоне начали кашлять, у людей серый налёт на языке. Идрис Варун, полковой лекарь и циник, четыре года называвший мои травы сладкой водичкой, лечит кровопусканием. Кади запрещает мне лечить воинов без мужского покровительства.Новая жена генерала, Нурай, привезла управителя, который предлагает мне деньги за отъезд.Приданое вернут только через сорок дней. Теперь мне нужно решить, что важнее: спасти гарнизон или доказать, что меня нельзя выбросить.Рядом остаётся Идрис, которому я не верю и которого не могу выгнать. Чья рука держит печать генерала, я пока не знаю.

© Бельтрами М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Караван уходит на рассвете 5
Глава 2. Шарлатанство в мешочках 10
Глава 3. Без мужского покровительства 14
Глава 4. Верблюдица съела закон 18
Конец ознакомительного фрагмента. 21

Марк Бельтрами
Бывшая жена генерала-дракона, или Аптека для всего гарнизона

Глава 1. Караван уходит на рассвете

– Двор прислал мне жену. Ты свободна, Амира. Караван уходит на рассвете.

Касим сказал это, глядя мимо меня, на карту брода, разложенную на походном столе, и перо в его пальцах даже не замерло. Я стояла у входа в шатёр с подносом его вечернего чая и несколько мгновений не могла сообразить, при чём тут чай. Потом в голове сама собой сложилась картина целого дня: дневной караван, паланкин с шёлковыми занавесками, молодая женщина в шалях, которую Самир провёл в восточное крыло и назвал гостьей двора. Гостья двора. Я ещё днём подумала, что гостей двора обычно селят в доме для приезжих, а не рядом с хозяйской спальней, но мне было некогда додумать эту мысль, потому что я считала мешки с полынью. Теперь я стояла с подносом и понимала, что семь лет брака закончились на слове «расписание».

У входа переминались двое свидетелей. Тахир, сотник второй сотни, смотрел в пол так старательно, будто на песке были написаны его собственные ошибки, а молодой писарь Назим вертел в чернильных пальцах дощечку и явно мечтал провалиться сквозь ковёр. Слово отпуска уже прозвучало при них обоих, и я, дочь аптекаря, прекрасно понимала, что назад его не заберёшь, как не соберёшь обратно рассыпанный по столу порошок.

– Мм… Ты хотя бы мог посмотреть на меня, когда сообщаешь расписание каравана, – сказала я и сама удивилась, как ровно звучит мой голос. – Семь лет, Касим. Я не прошу объяснений, у меня хватает ума понять, что такое приказ Дивана. Но я прошу взгляда, потому что за четыре года в этом доме я ни разу ничего у тебя не просила.

Он наконец поднял голову. Золотые глаза с узким зрачком, седая прядь у виска, лицо человека, который сам не рад поручению, но выполнит его до последней запятой. Мне вдруг пришло в голову, что именно этим он когда-то и подкупил моего отца: надёжностью, на которую можно опереть дверь.

– Хм. Это приказ, Амира, – сказал он тихо. – Отказ двору равен измене, ты знаешь закон лучше меня. Твоё приданое вернут через кади, как положено, и ни в чём твоей вины нет. Я распоряжусь, чтобы тебе дали место в караване и провожатого до столицы.

– Как предусмотрительно. Сундук с травами тоже внесут в опись?

Я поставила поднос на край стола, и чай качнулся в пиале, но не пролился, и почему-то это показалось мне важным: хоть что-то в этом шатре не выплеснулось. Потом я стянула с запястья свадебный браслет с сердоликом. Он сидел плотно, я носила его семь лет и успела забыть, что у него есть застёжка, поэтому возилась с ней дольше, чем хотела, и каждая секунда этой возни была унизительнее самого отпуска. Наконец замок поддался. Я положила браслет на карту, прямо на синюю линию брода, и камень лёг так, словно ему было здесь самое место.

– Это твоё, – сказала я. – Не потому что мне жалко, а потому что оно было куплено для жены генерала. Передай его той, кому оно теперь пригодится.

Касим что-то хотел ответить, я видела, как у него дрогнул подбородок, но промолчал. Я поклонилась обоим свидетелям, ровно настолько, насколько требовал обычай, и вышла в вечернюю жару, где ветер гнал по двору сухие колючки и пахло конским потом и нагретым камнем. Слёзы подступили только у самой лестницы, но я проглотила их: плакать на виду у казарм не входило в мои планы.

***

Дом генерала в этот час казался чужим, хотя я прожила в нём четыре года и знала каждую скрипучую ступеньку. Я поднялась в нашу, вернее, в его спальню, нашла в углу отцовский сундук с железными уголками и поставила его посреди комнаты. Он стоял там, как верный пёс, который ничего не понимает, но готов идти куда прикажут.

Начала я с трав, потому что в руках должно быть дело. Полынь, чабрец, корень солодки, мята, зверобой, сухая ромашка, мешочки с корой, которые отец когда-то подписывал мелким почерком. Я выкладывала их ровными рядами, шептала себе под нос счёт, как делала всегда, когда нервничала: «Двенадцать мешочков, шесть склянок, одна заварочная ложка с отколотым краем, мм, это я оставлю, мне она ни к чему, у Нурай, наверное, свои ложки». Рядом легла медная ступка Харуна, тяжёлая и потёртая до блеска, с вмятиной на боку, которую мой отец называл «следом от недовольного клиента». Я завернула её в два платка и уложила в самую середину, чтобы ничего не звякало. Туда же, в кожаный мешочек, отправились пять солнечных кристаллов, тёплые даже в темноте, как пять маленьких закатов. За них отдано сорок динаров, это больше, чем жалованье рядового за полгода, и я в который раз поблагодарила себя за привычку откладывать. Деньги пересчитала дважды: восемьдесят динаров, ровно восемьдесят, ни медяка больше. Для женщины, у которой нет ни дома, ни мужа, ни места в караване, это было и много, и ничтожно мало.

В коридоре меня ждала Нурай. Она стояла в дверях восточного крыла в кремовых шалях, с браслетами на тонких запястьях, которые звенели при каждом её вздохе, и выглядела так, будто это её, а не меня только что отпустили с расписанием. Светлые глаза широко раскрыты, пальцы вцепились в бахрому шали.

– Ах, госпожа Амира… Я не знала, право же. Мне сказали, что я гостья, – произнесла она вполголоса. – Мне велели ждать здесь, пока… пока всё не решится.

– Теперь решилось, госпожа Нурай, – ответила я так вежливо, что у меня заныли зубы. – Не беспокойтесь, вы не сделали ничего дурного. Вас привезли, как и меня когда-то привезли, хотя мне тогда хотя бы сказали правду заранее. В комнате налево стоит стол с чернильницей, ключ от кладовой висит у кухарки, а лампы в восточном крыле дымят, поэтому фитили нужно подрезать каждый вечер.

Она кивнула и так растерялась от этого перечня, что чуть не поклонилась мне в ответ. Мы обе стояли в коридоре, неловко вежливые, и обеим было понятно, что в этой истории нет виноватой женщины, а есть только женщины, которых переставили, как фигуры на доске. Я первая отвела взгляд, потому что ещё секунда, и я бы её пожалела, а жалеть соперницу в первый же вечер мне казалось слишком расточительным.

Из тени лестницы бесшумно вышел Самир. Мягкий голос, три перстня на пальцах, густой запах розового масла, от которого у меня каждый раз щекотало в носу.

– Милая госпожа Амира, какая досада, какая досада, – проговорил он, прижимая руку к груди. – Я прошу простить нас за поспешность. Носильщики уже заказаны, верблюд для вас приготовлен, а в дорогу вам дадут корзину с лепёшками и сушёными финиками. Мы всё предусмотрели.

– Вы очень предусмотрительны, господин Самир, – сказала я. – Хотела бы я знать, что вы ещё предусмотрели, но, видимо, это мне не положено.

Он улыбнулся одними губами, а глаза у него остались спокойными, как вода в закрытой бочке. Я забрала сундук, которого он не успел взять у меня из рук, взвалила на плечо мешок с ночными вещами и пошла вниз. Носильщики, тоже, видимо, заказанные заранее, ждали во дворе и переглядывались. Один из них потянулся к сундуку, но я не отдала: этот сундук я собрала сама, сама и донесу, пусть и по частям.

***

За внешней стеной, у дороги, стоял караван-сарай «У сухой реки». Туда я шла в темноте, пешком, с мешком на плече, по пыльной дороге, где днём торговцы выкрикивали цены на войлок, а теперь стрекотали сверчки. Хозяйку, Гюльнар, я знала четыре года: она пекла для гарнизона лучшие лепёшки и однажды вылечила мою служанку от нарыва на ноге бараньим жиром, не спросив ни слова. Она сидела на пороге в красном платке и перебирала чётки, а рядом, на цепи, лениво жевала что-то верблюдица Изюм.

– Ох, дочка, – сказала Гюльнар, когда я вышла из темноты. – Мне Ширин всё уже рассказала, она у нас вестовая почта. Только ты не думай, что я тебя жалею. Я твоего генерала сейчас обругаю так, что у него борода отсохнет, а у него бороды нет, так хоть седая прядь пожелтеет.

– Тётушка Гюльнар, не надо, – попросила я и попыталась улыбнуться, но улыбка вышла кривой. – Мне бы воды и угол. До рассвета, потом что-нибудь придумаю.

– А ругаться мне ты запретишь? Нет уж, дочка, это моё законное право, я потеряла лучшую покупательницу мёда! – Она втащила меня за локоть в тёмную кухню, где в медном котле ещё плыл запах бараньего бульона, и сунула мне лепёшку, горячую, посыпанную кунжутом. – Ешь. Я потом скажу, что думаю про их дворцы, а сейчас ешь. Комната у меня есть, за стеной, там раньше жил писарь с кашлем, но он съехал. Один динар за три ночи, и ты мне не спорь, я не из жалости, у меня дело.

Я ела лепёшку и не чувствовала вкуса, но тепло от неё шло по рукам, и впервые за вечер я заметила, что у меня дрожат пальцы. Гюльнар шумно возилась у печи, бормоча что-то про сухих драконов, у которых вместо сердца карта, и про двор, который шлёт жён как посылки. Потом она отвела меня в комнату, поставила светильник на сундук, хлопнула дверью и ушла, оставив мне тишину и узкую кровать с шерстяным одеялом.

Я села на кровать, и всё, что я так тщательно держала в шатре, в доме, в коридоре, сорвалось разом. Я плакала в подушку, потому что в этой тишине нельзя было иначе, плакала зло, без красоты, всхлипывая и ругая себя последними словами: за то, что ждала от него хоть слова, за то, что браслет положила так бережно, за то, что семь лет считала уважение достаточным основанием для жизни. Любви не было, чего уж, был отцовский сговор, был надёжный дом, был человек, который никогда не повышал голос. Но обиднее всего было другое: меня выставили с расписанием, как прислугу, которая отслужила срок, и самое неприятное заключалось в том, что я сама чувствовала себя удобной вещью, которую просто больше не нужно.

***

Не знаю, когда я уснула. Проснулась в темноте оттого, что в ушах стоял отцовский голос, ровный, чуть ворчливый, каким он читал мне закон об отпуске на кухонном столе в столице, пока я чистила корни. «Запомни, Амира, – говорил он, водя пальцем по строке. – Жена, отпущенная мужем, сохраняет своё ремесло, а ремесло даёт ей право жить там, где оно нужно. Никто не может выгнать женщину из города, если в ней нуждаются как в мастере. Поняла?» Я тогда кивала, не понимая, зачем девочке, которой прочили удачный брак, знать такие строки. Теперь поняла: отец был аптекарем, а аптекарь всегда держит запасной выход в самом неожиданном месте.

Я села. Ремесло остаётся со мной. Нужно только найти, где в нём нуждаются, и вот это как раз сомнений не вызывало: гарнизон в четыреста человек, одна лавка на площади, и ни одного аптекаря. Я рассмеялась вслух, коротко и хрипло, и сама испугалась этого звука.

Во дворе заскрипела дверь, и кто-то закашлялся, глухо, мучительно, с хрипом. Я накинула платок и вышла в кухню, где у бочки с водой, согнувшись и держась за край стола, стоял пекарь Мунир. Я знала его: мука в бровях, обожжённые руки, широкие плечи, на которых привык таскать мешки. Сейчас он дышал так, словно к груди ему привязали жернов.

– Госпожа аптекарша… Простите, что среди ночи. Мне бы воды, у меня в горле будто песок, – прохрипел он, и по лбу у него скатилась капля пота. – Печь затопил, а встать не могу, жарко, а холодно, чтоб его…

– Сядьте, Мунир, – сказала я и подтолкнула его к лавке. – Так, не спорьте. Откройте рот, покажите язык.

Язык был серым, обложенным плотным налётом, как будто его присыпали пеплом, а лоб под моей ладонью горел. Он закашлялся снова, и в этом кашле я услышала что-то незнакомое, сухое, царапающее, не похожее на летние простуды, которыми я лечила всех кухарок генерала. Я достала из мешка мешочки с чабрецом и солодкой, размешала настой в ковшике, тёплой водой, которая ещё не остыла в котле, и дала ему выпить медленно, мелкими глотками.

– Пейте, не торопитесь. Дышите носом, если сможете. У вас давно так?

– Третий день. Думал, пыль в пекарне. Только пыль у нас всегда была, а так не бывало. – Он выпил и посмотрел на меня красными глазами. – У помощника то же самое, а он к лекарю не идёт, боится, что отправят пиявками лечить.

– Ну и правильно боится, – пробормотала я скорее для себя. – Идите домой, пусть помощник тоже выпьет это. Я завтра принесу ещё.

Он ушёл, шаркая, а я осталась стоять у бочки и думать. Серый язык, сухой кашель, жар. Я не знала такой болезни, а я прочла у отца всё, что он держал в сундуке. Это беспокоило меня сильнее, чем всё, что случилось вечером, потому что с разбитым сердцем справляется время, а вот с чужой болезнью нужно справляться сейчас. Названия этой болезни у меня не было даже в мыслях, потому что причин для него не нашлось: просто странный кашель у пекаря, просто мучительная ночь, просто жизнь, которая решила начаться с неудобной стороны.

***

Рассвет застал меня у ворот караван-сарая, уже одетую, с мешком на плече и сундуком, который Гюльнар помогла донести. Небо над степью было светлым и пустым, воздух ещё хранил ночную прохладу, а в нём уже слышался дальний гул: караван собирался в путь. Верблюды ревели, переругивались погонщики, звенели колокольцы, пахло дымом, навозом и пряностями.

Караванщик Юнус ждал меня там, где обещал. Борода его, выкрашенная хной в рыжий, горела под первыми лучами, а в руках он держал верёвку верблюда, на котором для меня привязали подушки и бурдюк. Он поклонился, неловко, как человек, который не знает, как держаться с женщиной, ещё вчера бывшей женой генерала.

– Госпожа, всё готово, – сказал он. – Двенадцать дней до столицы, вода есть, финики есть. Меня просили вас не торопить, но солнце встанет, и жара придёт.

– Благодарю, караванщик Юнус. Я не поеду, – ответила я и вынула из-за пазухи письмо, свёрнутое в трубочку и запечатанное простым воском, без перстня. – Только передайте вот это. В цитадель, в руки генералу-эмиру, больше никому. Скажите, что от госпожи Сайрен. Там нет ничего страшного, только то, что я хотела сказать, и ничего из того, что он хотел услышать.

Юнус поднял брови, но ничего не спросил, спрятал письмо за кушак и, судя по тому, как он расправил плечи, понял, что оказался свидетелем чего-то важного. Он ещё раз поклонился, погнал верблюда и, оглянувшись на повороте, коротко махнул мне рукой.

В письме было немного: что браслет оставлен по своей воле, что приданое я получу в срок, что от дороги в столицу я отказываюсь и остаюсь в Каменном Броде по праву ремесла, как велит закон об отпуске. «Не беспокойся, – написала я, – я не стану тебе помехой и не стану просить крова. Если твоим людям понадобится аптекарь, я буду на площади». Больше ничего. Я дважды перечитала письмо ночью, вычёркивая всё, что звучало как упрёк, и осталось ровно столько слов, сколько стоила моя гордость.

Караван тронулся. Сначала медленно, потом ровнее, длинная цепочка горбатых силуэтов на фоне розового неба, звон колокольчиков, пыль, поднимающаяся золотым облаком. Гюльнар встала рядом со мной, скрестила руки на груди и вздохнула, но я не посмотрела на неё. Я смотрела, как уходит в степь то, что могло бы увезти меня в прежнюю жизнь, пока последний верблюд не слился с горизонтом.

– Ну что, дочка, – сказала наконец Гюльнар. – Куда теперь?

– Мне нужна лавка, тётушка, – ответила я. – И пятнадцать минут, чтобы подумать, как заплатить за неё вперёд.

Караван ушёл на рассвете. Я осталась.

Глава 2. Шарлатанство в мешочках

– Дочка, открывай, у меня кислое молоко и новость, и я не знаю, что из этого свежее! – Гюльнар стучала в дверь так, словно собиралась выбить её вместе с косяком. – Весь посёлок говорит, что генеральша не уехала!

Я села на кровати, не сразу вспомнив, где нахожусь. Утро третьего сентября было уже жарким, сквозь ставню пробивалась полоска света, в которой плавала пыль, а на сундуке у стены стоял светильник, оплывший до огарка. Голова гудела от вчерашних слёз, и первой моей мыслью было, что хорошо бы всё это оказалось плохим сном. Вторая мысль была деловая: письмо Касиму ушло, караван ушёл, назад дороги нет.

– Тётушка Гюльнар, я не генеральша, – сказала я, отодвигая засов. – Я Амира Сайрен, аптекарь. Пока что аптекарь без аптеки, зато с кислым молоком, как я понимаю.

– С кислым, густым и с мёдом, потому что тебе нужны силы. – Она вплыла в комнату с глиняным кувшином, села прямо на сундук и не стала ждать приглашения. – Ширин уже обежала полпосёлка. Одни говорят, ты решила дождаться, пока генерал одумается, другие, что ты отравишь молодую жену, а самые умные считают, что ты открываешь трактир. Я ни с кем не спорю, только поддакиваю, раз ты ещё не решила, кто ты есть.

– Я решила, – ответила я и выпила молоко, холодное, с кислинкой, которая сразу разогнала сон. – Сегодня иду к кади. Мне нужна бумага, что отпуск записан и что моё ремесло при мне. Без неё любая торговка на площади может ткнуть в меня пальцем, а у меня нет денег на защитника.

Гюльнар только фыркнула, но, кажется, осталась довольна.

***

Дом кади стоял у мечети, на площади, и ещё издали я увидела писаря Назима, который сидел на ступеньке с чернильницей на коленях и промакивал рукав. Рукав был испачкан до локтя, судя по всему, не в первый раз. Увидев меня, он вскочил, уронил дощечку, наклонился за ней и ударился лбом о перила.

– Г-госпожа Сайрен, – выдавил он, потирая лоб. – Почтенный к-кади вас ждёт. Он уже д-два раза спрашивал, не пришли ли вы.

– Спокойнее, Назим, дышите ровнее, я не кусаюсь, – сказала я мягко. – Вчера вы были при свидетелях, вам и так досталось. Вы ни в чём не виноваты.

Судная комната пахла воском и старой кожей. Бахрам Ташкын сидел за низким столом, белая борода лежала на груди ровной волной, а на пальце тускло блестел перстень-печать. Он глядел на меня так, как смотрят на нерешённую задачу, которую подсунул кто-то неудобный.

– Женщина Сайрен, – произнёс он медленно, и каждое слово у него падало отдельным камнем. – Вчера, второго сентября, при двух свидетелях, генерал-эмир Касим Дархан произнёс слово отпуска. Сегодня, третьего, я вношу его в книгу. Вы согласны с записью?

– Почтенный кади, я согласна с тем, что слово прозвучало, – ответила я. – И прошу занести в книгу ещё одно: что я отпущена без вины, что приданое в тысячу двести динаров возвращается мне в положенный срок и что по закону об отпуске моё ремесло остаётся при мне. Мне нужна копия статьи.

Кади долго молчал, водя пальцем по краю книги. Потом поднял на меня светлые, выцветшие глаза.

– Вы читали закон?

– Мой отец был аптекарем в столице, и закон о ремесле он читал мне на кухне, пока я чистила корни. Статью шестую я помню наизусть, но мне нужна бумага с вашей печатью. Слова в степи улетают быстрее, чем верблюды.

– Гм, – сказал кади и повернулся к писарю. – Назим, перепишите статью. Дословно.

Назим переписывал полчаса, и за это время дважды заикнулся, трижды капнул чернилами и один раз порвал лист, так что мне пришлось придерживать бумагу, пока он выводил заглавные буквы. Кади в это время изучал меня, но молчал, а я разглядывала узор на ковре и думала: сухой человек, но не злой. Такому нужна не жалость, а точная формулировка.

– Приданое, – произнёс он наконец, когда Назим сдул песок с последней строки. – Возвращается на сороковой день, двенадцатого октября, через мои руки. До этого срока вы не вправе требовать ни монеты. Это тоже записано.

– Я не требую, почтенный кади. Я считаю, – сказала я. – До двенадцатого октября тридцать девять дней, и мне придётся прожить их на восемьдесят динаров. Если вы подскажете, где в посёлке дёшево снять помещение под лавку, я буду признательна.

– Этого закон не предусматривает, – ответил он, но уголок рта у него дрогнул. – Но я слышал, что госпожа Гюльнар давно хочет сдать шорную мастерскую.

Я поблагодарила, взяла копию, ещё тёплую от воска, и вышла на площадь, где в тени у колодца судачили женщины. Увидев меня, они разом смолкли, и я выпрямила спину, чтобы им было не на что показать пальцем.

***

Мастерская стояла на краю площади, почти у самых ворот цитадели, и была она в таком виде, словно в ней не прибирались с прошлой осени. Одна лавка с ободранным прилавком, паутина в углах, на полу клочья кожи и мышиный помёт, у стены разбитая бочка. Позади, за дощатой перегородкой, маленькая каморка с окошком, куда едва пролезла бы моя голова, и навес над входом, под которым ночевала чья-то курица.

– Ох, дочка, красота, правда? – Гюльнар сияла, как продавец, который сбывает рухлядь. – Стены крепкие, крыша без дыр, а пол ты помоешь, и будет чище, чем у кади.

– Тётушка, я не слепая, – сказала я и пнула носком ботинка кусок кожи. – Здесь курица живёт, и, судя по помёту, у неё есть дети. Сколько?

– Три динара в неделю.

– Мм, а я слышала, что у вас хорошая репутация. Два.

– Два с половиной, и ты берёшь Айлу. – Гюльнар выставила вперёд подбородок. – Племянница моя, шестнадцать лет, острые локти, пишет всё подряд. Дура-дурой, зато честная. Пусть носит тебе вёдра и учится делу. Я с неё не возьму ни медяка, но и ты ей платить будешь не больше динара в неделю.

– Два динара, и Айла, – сказала я. – Динар в неделю ей, как договорились, и обучение. Если она сожжёт мне хоть один мешочек, вернёте мне половину.

– Договорились! – Гюльнар хлопнула меня по плечу так, что я присела. – Айла, выходи, нечего прятаться за дверью!

Из-за косяка вылезла девчонка, худая, конопатая, с острыми, как у кузнечика, локтями. В руках у неё была дощечка с углём, и она тут же начала что-то записывать.

– Айла, – сказала она вместо приветствия. – Я пишу, чтобы не забыть. Вы госпожа Амира, вам тридцать лет, у вас коса до пояса и пальцы в пятнах. Можно я это запишу?

– Запиши, – согласилась я, и впервые за два дня мне захотелось улыбнуться по-настоящему. – Только добавь, что я не люблю, когда мне считают возраст вслух.

***

Мыла я мастерскую до вечера. Айла таскала воду из колодца, вёдра у неё были тяжелее её самой, но она ни разу не пожаловалась, только считала шаги и записывала. Я выскребла пол, смахнула паутину, вынесла вон куриное гнездо и объявила курице войну, которую она с достоинством проиграла. К закату на прилавке стояла медная ступка Харуна, рядом выстроились банки, а за ними, на полке, пять рядов мешочков, аккуратно подписанных: полынь, мята, солодка, зверобой, ромашка. Пять кристаллов я спрятала в каморке, в нише под окошком, завернув в плащ.

Пока я раскладывала травы, в дверь постучали. Мунир стоял на пороге, серый, но на своих ногах, и в руках мял шапку.

– Госпожа аптекарша, – сказал он осторожно. – Я не по делу, а так, сказать. Я ночью спал. Первый раз за три дня. Мне это ваше питьё помогло, так что, если можно, ещё баночку. Помощнику тоже дал, а он говорит, что это лучшая гадость в его жизни.

Я налила настой в склянку, заткнула пробкой и взвесила её в руке. Три динара на полынь и солодку, два на чабрец, но брать с человека, который едва держится на ногах, было совестно.

– Один динар, Мунир. Это себестоимость, остальное при выздоровлении. Пейте три раза в день, и главное, не вдыхайте муку, пока кашель не уйдёт.

– Как же я не вдыхаю, госпожа, я же пекарь! – он засмеялся и тут же закашлялся. – Ладно, сделаю, что смогу.

Он ушёл. Я посмотрела ему вслед, на мешочки, потом на склянки и подумала, что первый клиент пришёл не от счастья. Это не радовало.

***

Утром четвёртого сентября я стояла у прилавка и рассыпала по мешочкам сухую мяту, когда дверь ударилась о стену. На пороге возник мужчина: худой, небритый, с закатанными по локоть рукавами, в очках, у которых на левом стекле шла косая трещина. Такую трещину лечат только новыми очками, а на новые, видимо, не хватало жалованья. Я узнала его сразу: полковой лекарь Идрис Варун, человек, который четыре года называл мои травы сладкой водичкой.

– Госпожа Сайрен, – произнёс он ровным, очень учтивым голосом, и у меня заныли зубы. – Позвольте объяснить, чем занимаюсь я и чем занимаетесь вы. У меня в лазарете лежат двое пекарей, и один из них хвастается всем, кто готов слушать, что «травка аптекарши» поставила его на ноги. Вы понимаете, что это значит?

– Что мой настой подействовал? – предположила я, не прекращая рассыпать мяту. – Господин Варун, доброе утро. Я бы предложила вам чаю, но чайник ещё у Гюльнар.

– Это значит, что гарнизон начнёт ходить к вам, а не ко мне, и вылечит себя мешочками с сеном, а потом придёт ко мне уже тогда, когда лечить нечего. – Он шагнул к прилавку и ткнул пальцем в мешочек с зверобоем. – Это что?

– Зверобой.

– А вот это?

– Тоже зверобой, только собранный на рассвете, до первого луча. В нём втрое больше силы, чем в том, что собрали днём.

– Гхм. Позвольте объяснить, госпожа Сайрен, чем медицина отличается от шарлатанства в мешочках, – сказал Идрис, поправляя очки, и голос у него стал совсем сладким. – Медицина записывает своих мёртвых, а шарлатанство их просто не считает. И ваши кристаллы, которые якобы хранят солнце, не стоят ни одного записанного в тетради случая.

Я отложила совок. Руки у меня дрожали, но не от страха: впервые за три дня во мне поднялась злость, чистая, прямая, без всякой жалости к себе, и она оказалась на редкость бодрящей.

– Ох, господин лекарь, как вы заговорили! – сказала я. – Записывает мёртвых! А живых вы тоже записываете, или только после того, как они остынут? Я слышала, в вашем лазарете лечат кровопусканием. У человека жар, дышит с хрипом, ему нужен сухой воздух и тепло, а вы его вскрываете и обкладываете мокрыми тряпками. Хороший способ, главное, быстрый, больной не успевает пожаловаться!

– Вы смеете судить о том, чему не учились? – Идрис шагнул ближе, и я увидела серые круги у него под глазами, красные прожилки на белках, щетину, которой хватило бы на два дня без сна. Человек вымотан, поняла я, давно и всерьёз. – Столичная наука существует веками…

– Столичная наука, господин Варун, выгнала вас из лечебницы, как мне рассказывали, – сказала я и тут же пожалела, но слово не воробей. – А у меня отец аптекарь, и я знаю, чем

кончаются мокрые тряпки на горячих людях. Если у вас пекари кашляют с хрипом, значит, лёгкие забиты сыростью, а вы добавляете её сверху.

Он замолчал. Я слышала, как за стеной Айла скребёт углём по дощечке, и как в бочке капает вода, и как у него в горле что-то хрипнуло, как у человека, которого ударили точно и больно. Он снял очки, потёр переносицу, надел обратно, и трещина разделила его взгляд надвое.

– Хм, – сказал он наконец. – Вы правы в одном: у меня сейчас не лучшая репутация. Но вы не правы в главном. Я не прошу вас о помощи, госпожа Сайрен, я прошу вас не мешать. Люди приходят ко мне и говорят: нам лучше от аптекарши. Это опасно. Вы не знаете, что у них. Я не знаю, что у них. И пока этого никто не знает, любое питьё из мешочка может оказаться последним.

Я хотела ответить что-то язвительное, но заметила, что он сунул руку в карман потрёпанного кафтана и сжимает там сложенную тетрадь. Тетрадь была тонкая, самодельная, с загнутыми углами, из неё торчал клочок бумаги. Идрис перехватил мой взгляд и убрал руку, но было поздно: я уже видела на его лице усталость человека, который ведёт счёт и боится, что счёт сойдётся.

– Вы ведёте записи, – сказала я, и голос у меня стал другим, тише. – Сколько их у вас?

– Это не ваше дело.

– Это моё дело, раз вы пришли ко мне в мастерскую в шесть утра и рассказываете про последний глоток. Сколько?

Он пожевал губу, как будто сам себя уговаривал. Потом поправил очки, и на секунду мне показалось, что он сейчас развернётся и уйдёт, не сказав ни слова.

– Пятеро, – выговорил он. – Пятеро в лазарете. Двое пекарей, два солдата с северной стены и конюх. Все с жаром, все с хрипом, у всех, – он замолчал, потому что заметил, что сказал слишком много. – Не важно. Я прошу вас не подливать масла. Если кто-то из них умрёт после вашего питья, за мёртвых по вашей милости отвечать будете вы, госпожа Сайрен, и я не стану вас защищать.

– А если умрёт после вашего? – спросила я.

Идрис посмотрел на меня долгим пустым взглядом, развернулся и вышел, так хлопнув дверью, что вздрогнули банки на полке. В каморке перестала скрести дощечка. Айла осторожно выглянула из-за перегородки, прижимая угольную палочку к груди.

– Госпожа Амира, – прошептала она. – Он сказал, что их пятеро. Мне записать?

– Запиши, Айла, – сказала я и опёрлась на прилавок, потому что ноги вдруг стали ватными. – Запиши, что у лекаря Варуна пять больных и что он их боится.

Я подошла к окну. На площади дрожал от жары воздух, у колодца всё так же шептались женщины, а над крышей лазарета поднимался тонкий дымок. Пять человек кашляли в гарнизоне, а лекарь полка боялся сказать вслух, что это такое.

Глава 3. Без мужского покровительства

Айла писала вывеску мелом на доске, высунув от усердия кончик языка, и последняя буква «а» у неё съехала вниз, словно ей надоело держаться на одной линии со всеми. Я стояла на пороге с кружкой холодного чая, смотрела на доску, прислонённую к стене мастерской, и думала, что вывеска очень точно передаёт состояние моих дел: стараюсь, но немного криво. Утро шестого сентября было ветреным, пыль гоняла по площади сухие стебли, а над воротами цитадели хлопал выцветший флаг.

– Госпожа Амира, а зачем вам точка после слова? – спросила Айла, отступая на шаг и щурясь. – Я хотела поставить, но не уверена. Вдруг подумают, что это приказ: «Аптека. Всё. Закрыто».

– Точку убери, – сказала я. – И подними последнюю букву повыше, чтобы она не выглядела пьяной. Нет, не стирай рукавом, ты размажешь весь мел, возьми тряпку.

– Ох, я записываю: не вытирать рукавом, – пробормотала она и полезла в карман за дощечкой. – Тётя говорит, что у меня руки растут не из того места, но, по-моему, они растут нормально, просто быстрее головы.

Я не успела ответить, потому что в дверях выросла фигура в солдатской куртке. Парень лет двадцати, красный до ушей, мял в руках шапку и косился то на меня, то на вывеску, то на банки на полках, будто решал, не сбежать ли, пока не поздно. Это был первый покупатель, и я улыбнулась ему так приветливо, как могла.

– Доброе утро, – сказала я. – Чем могу помочь?

– Госпожа аптекарша, мне бы… – Он заглянул мне через плечо, убедился, что никого лишнего нет, и понизил голос до свистящего шёпота. – Мне бы зелье. Приворотное. Для прачки из северной стены. Она на меня и не смотрит, а я у неё уже три рубахи отнёс стирать, хотя у меня только две.

Айла издала странный звук, будто подавилась, и уткнулась лицом в доску. Я прикусила щёку изнутри и серьёзно, очень серьёзно кивнула.

– Приворотных зелий я не держу, – ответила я. – Потому что они не работают. Зато у меня есть мазь от мозолей и отвар мяты для свежего дыхания. Если вы принесёте прачке три рубахи, а потом четвёртую, которая не нуждается в стирке, а просто хорошо пахнет, это подействует лучше любого зелья.

– Свежее дыхание, – повторил он и приободрился. – А это сколько?

– Полдинара. И рубаху стирайте сами, это бесплатно.

Парень ушёл с двумя склянками и таким счастливым лицом, будто я продала ему крылья. Тут же за ним в дверях появились ещё трое, потом ещё двое, потом пошла настоящая очередь, любопытных больше, чем покупателей. Они приходили посмотреть на бывшую жену генерала, а уходили с мешочками, которые брали из вежливости, и к полудню у меня закончилась мята, а на прилавке выросла горка медяков.

***

– Мне бы зелье против сотника, – сказал низкий пожилой солдат, сурово глядя поверх моей головы. – Чтобы он перестал меня гонять на ночные караулы.

– Против сотника зелья нет. Есть настой от бессонницы, но он действует на того, кто пьёт, а не на того, кто гоняет.

– Тогда мне оба.

– Оба, чтобы вы спали, а он нет? Ну-ну, хитрый вы человек, – сказала я, и солдат впервые за разговор усмехнулся. – Берите настой, и пейте перед караулом. Если не поможет, приходите, придумаем что-нибудь другое.

К обеду в лавку пришла Ширин, жена сотника Тахира. Ямочки на щеках, красные от щёлока руки, платок съехал набок от быстрой ходьбы. Она влетела, как порыв ветра, и сразу заговорила, не здороваясь:

– Госпожа Амира, ах, наконец-то я вас нашла! Все говорят, что вы открылись, но я не верила, пока сама не увидела. Какая прелесть эта ступка! А доска, ой, а вывеска, у вас там что, буква упала? Мне бы мазь для рук, у меня трещины, как в сухой степи, до крови. И рассказывайте всё, что случилось, я никому, честное слово, никому, кроме трёх подруг и сестры мужа!

– Ширин, – сказала я терпеливо. – Садитесь. Вот ваша мазь, из козьего жира и ромашки, на ночь втирайте под перчатки. А рассказывать мне нечего: меня отпустили, я осталась, теперь у меня аптека.

– Но как же вы, вы же такая гордая, и он такой гордый! – Ширин всплеснула руками, потом спохватилась и вытерла их о передник. – Я слышала, что та, новая, ходит по дому, как потерянная, и спрашивает у кухарки, где что лежит. Она, кажется, очень милая, но совсем ничего не умеет, даже чай заварить. Ох, я не должна была это говорить!

– Не должны, – согласилась я. – Но вы уже сказали, поэтому берите мазь и идите к своим подругам. Только не забудьте добавить, что аптекарша не злится, а торгует мятой.

Она выпорхнула, унося вместе с мазью все новости, которые только успела выудить из воздуха, и я вдруг поймала себя на том, что смеюсь. Громко, до слёз, прижимая руку к рёбрам, так, как не смеялась уже два года. Смех был лёгкий, без горечи, и мне даже стало неловко за то, как легко он вырвался. Айла с любопытством заглянула мне в лицо и записала что-то на дощечке.

– Что ты там пишешь? – спросила я, вытирая глаза.

– «Госпожа Амира смеётся. Первый раз с отпуска. Шестое сентября, около полудня», – прочитала Айла. – Это важно. Вы потом захотите вспомнить.

***

Вечером мы закрыли лавку. Я пересчитала выручку: семь динаров и сорок медяков, из них пять динаров чистой прибыли, а остальное ушло на мясо и лепёшки для нас с Айлой. Для первого дня это было больше, чем я смела ждать, и я повторила цифры вслух трижды, как заклинание: «Пять, пять, пять». Потом отправила Айлу домой, пообещав, что завтра придумаю ей задание поинтереснее мытья склянок.

Топчан я перетащила в каморку сама, поскрипывая зубами, потому что он оказался тяжелее, чем выглядел. Поставила его под окно, постелила шерстяное одеяло, на полку над изголовьем пристроила мешочек с кристаллами и ступку, как соседку. Каморка была тесной, пахла полынью и сухим деревом, но в ней было что-то честное: ничего лишнего. Платить Гюльнар за комнату я больше не собиралась, а сэкономленные на комнате динары через месяц сложились бы в ещё один кристалл. Решено: сплю здесь.

В дверь тихо стукнули, когда уже стемнело. Я решила, что вернулась Айла что-то забыть, но на пороге стояла молодая женщина в светлых шалях, закутанная до самых глаз, а за её плечом маячила молчаливая служанка в синем покрывале.

– Госпожа Амира, – прошептала Нурай. – Простите, что так поздно. Я не знала, к кому пойти. Зейнаб, подожди снаружи, пожалуйста.

Я посторонилась, и она вошла, зазвенев браслетами. При свете лампы она оказалась ещё моложе, чем я думала: бледная, с тёмными кругами под светлыми глазами, с обкусанными губами. В руках она комкала край шали, и я вдруг увидела, что ногти у неё тоже обкусаны до мяса.

– Ах, мне так неловко, – заговорила она. – Я не знаю, что вы обо мне думаете, и право же, я бы никогда… я не хотела, чтобы так вышло. Но я не сплю уже третью ночь. Зейнаб приносит мне молоко, но оно не помогает, и я лежу и слушаю, как в доме скрипят полы, и мне кажется, что кто-то ходит. Мне сказали, что вы лучшая травница в гарнизоне.

Она не сказала «спросите у вас совета, потому что у меня больше никого нет», но это стояло в воздухе между нами, густое, как дым. Я могла бы выставить её, имела на это любое право, и никто в посёлке не осудил бы меня. Но на её руках, пальцах и в глазах было слишком много страха, чтобы испытывать к ней что-то, кроме усталости.

– Садитесь, госпожа Нурай, – сказала я и подвинула ей табурет. – Дайте мне запястье. Вот так. У вас пульс как у птицы. Вы пьёте крепкий чай вечером?

– Нет, совсем немного, только после ужина.

– Ужин тоже отменим. Не навсегда, просто сегодня. – Я отсыпала в ступку мелиссу, мяту, щепотку валерианы, растёрла медным пестиком и залила кипятком. – Это сонный настой, он мягкий, привыкания не даёт. Пейте тёплым, перед сном, и не думайте о завтрашнем дне, пока не станет светло.

Нурай взяла чашку обеими руками. Горячий пар закрыл ей лицо, и на мгновение мне показалось, что передо мной просто девочка, которую ночью выставили за дверь. Она сделала глоток, поморщилась, потом ещё один и посмотрела на меня поверх края.

– Вы ни о чём не спросите? – спросила она.

– Нет, – ответила я. – Вы пришли за сном, а не за допросом. Остальное меня не касается.

Она долго молчала, вертя чашку в пальцах. Потом поставила её на прилавок, вытащила из рукава маленький кошелёк и положила рядом. Я хотела отодвинуть его, но она покачала головой.

– Это за настой. Не обижайтесь, прошу вас. Я так не умею, чтобы брать и не платить. – Она встала, поправила шаль и у самой двери остановилась, не оборачиваясь. – Вы не похожи на то, что о вас говорили, госпожа Амира.

– А что говорили?

– Что вы злая и расчётливая. – Её голос чуть дрогнул. – Может быть, я ошиблась, а может быть, ошиблись они.

Она ушла, оставив запах лаванды и звон браслетов, и я долго сидела, глядя на кошелёк. Два динара, ровно два. Деньги за ночь для чужой женщины, которая заняла мой дом. Я сложила их в мешочек к остальным и подумала, что мир в Каменном Броде устроен не так просто, как мне казалось утром.

***

Утром седьмого сентября к аптеке пришёл Назим. Он топтался у порога, не решаясь войти, и когда я вышла, поклонился так низко, что едва не уронил свиток.

– Г-госпожа Сайрен, вас просит к себе почтенный кади, – выдавил он. – Немедленно. Я не знаю з-зачем, но он написал п-письмо.

Дом кади в этот раз выглядел иначе: у входа толпились зеваки, у судной комнаты стояли два стражника, а сам Бахрам Ташкын сидел за столом, разложив перед собой три свитка. Я встала перед ним, как встают перед стеной, и он, не поздоровавшись, начал читать громко, ровно, с паузами.

– По доносу некоего доброжелателя, поданному в судную палату, – произнёс он, и я услышала, как Назим за моей спиной шумно сглотнул. – Женщина Сайрен, отпущенная жена генерал-эмира, открыла аптеку на базарной площади и отпускает снадобья воинам гарнизона. Закон Захира, статья одиннадцатая о покровительстве, гласит: женщина может лечить воинов только под покровительством мужчины, будь то муж, отец или мастер родственного ремесла. Покровитель отвечает за неё перед судом. Есть ли у вас покровитель, женщина Сайрен?

– Почтенный кади, мой муж меня отпустил, а отец умер весной прошлого года, – сказала я. – Из мужчин родственного ремесла я знаю только господина Варуна, и он готов скорее съесть свои очки, чем стать моим покровителем.

– Значит, нет.

– Значит, нет. Но я не лечила воинов, почтенный кади. Ко мне приходили солдаты, да, за мазью от мозолей и мятой для дыхания, и это торговля, а не лечение. Я могу показать выручку.

– Закон не различает мазь и лечение, когда продавец знает, от чего средство. Указ будет прибит на двери вашей аптеки. Штрафа пока нет, но при повторном нарушении он будет двадцать динаров, – ответил кади и поднял глаза. В них мелькнуло что-то похожее на сожаление, но голос остался прежним. – Я не вправе трактовать закон шире, чем он написан, женщина Сайрен.

Меня захлестнула такая злость, что я даже не заметила, как повысила голос.

– О-о, почтенный кади, а если воин умирает без мужского покровительства, ему тоже нельзя? – спросила я, и писарь Назим уронил перо. – Скажите, пожалуйста, в какой статье написано, что человек, у которого жар и хрип, должен сначала найти мужчину, который за него поручится, а потом уже дышать?

Кади слегка откинулся назад. Зеваки у двери зашумели, кто-то хихикнул, но тут же замолчал.

– Закон не обсуждается, а исполняется, – сказал он сухим тоном. – Вы можете подать прошение о пересмотре в Аптечную палату столицы. Срок рассмотрения от трёх до восьми месяцев. Если вы вылечите за это время хоть одного воина, вы нарушите закон, и я буду обязан наказать вас. Это всё.

– Я поняла, почтенный кади. Спасибо за разъяснение.

Назим сунул мне в руки свёрнутый указ, и я вышла на площадь, где солнце ударило в лицо с такой силой, что слёзы вскипели сами. Я не плакала, нет, это просто светило слишком ярко.

***

Гюльнар ждала меня у аптеки, сидя на перевёрнутой бочке и грызя сушёный абрикос. Увидев указ, она выругалась так цветисто, что проходящая мимо женщина с кувшином ускорила шаг.

– Ох, чтоб им всем верблюд на ногу наступил! Кто донёс, дочка? Ты не знаешь?

– «Некий доброжелатель», – ответила я и повертела свиток в руках. – Мы с тобой оба знаем, что в этом посёлке доброжелателей двое: сплетня и скука. Но эта бумага написана аккуратно, с цитатой из статьи, а Ширин на статьях спотыкается.

– Тогда это кто-то грамотный и очень вежливый, – сказала Гюльнар мрачно. – Знаешь, дочка, у меня есть идея. Выдадим тебя замуж. Не навсегда, для вида. Найдём мужчину с ремеслом, чтоб он покровительствовал, а ты ему печёнку лечи за это.

– Тётушка, не до шуток.

– Я не шучу! Есть у меня один на примете, всё при нём, только он, – Гюльнар задумалась и жевала абрикос, – верблюд. Но он, зато, надёжный. Не врёт, не пьёт, за словом в карман не лезет, потому что у него нет кармана.

Я не выдержала и расхохоталась второй раз за двое суток. Гюльнар смотрела на меня с видом полководца, выигравшего битву, а потом сама зашлась хриплым смехом, так что золотой зуб сверкнул на солнце.

– Ну вот, – сказала она, вытирая глаза платком. – Смеёшься, значит, живая. Что будешь делать?

– Лечить гражданских, – ответила я. – Тех, кто не воин. Это пока не запрещено. А потом посмотрим, у кого на меня хватит наглости обернуться.

Я взяла у Айлы молоток и три гвоздя, подняла указ на ту высоту, где его удобнее читать, и вбила гвозди один за другим. Первый вошёл криво, пришлось выдернуть и переделать. Айла придерживала бумагу, прикусив язык, а Гюльнар командовала со стороны, что левый край ниже правого, хотя это было совсем не так. Прохожие замедляли шаг, читали, переглядывались.

Я прибила указ ровнее, чтобы он хотя бы висел прилично, раз уж висит.

Глава 4. Верблюдица съела закон

Верблюдица Изюм стояла у двери моей аптеки и с философским спокойствием жевала указ кади. Бумага уже наполовину исчезла у неё во рту, торчал только нижний угол с печатью, и по её морде было видно, что казённая статья одиннадцатая оказалась на вкус вполне приличной. Утро девятого сентября начиналось жарко и пыльно, над площадью висело марево, а у колодца, как всегда, собрались женщины, которые не делали вид, что не смотрят.

– Тётушка Гюльнар, – сказала я, остановившись на пороге с метлой. – Ваша верблюдица ест государственный закон. По-моему, это пахнет статьёй о порче имущества.

Гюльнар сидела на своей бочке в трёх шагах от Изюм и с особым вниманием разглядывала небо. Красный платок съехал ей на затылок, золотой зуб блестел, а лицо выражало такую невинность, что ей можно было вручать грамоту за примерное поведение.

– Ох, дочка, я ничего не вижу, – заявила она. – Глаза плохие стали, что поделаешь. Вроде там что-то жуёт, но не разобрать, может, это верблюжья колючка, а может, и нет. Изюм у меня существо вольное, воспитанное. Она ни одной бумаги в жизни не съела без причины.

– Какая же причина у неё сейчас?

– А ей не понравился слог, – подумав, ответила Гюльнар. – Больно длинный.

Я прыснула, закрыла лицо рукой и опустилась прямо на порог. Изюм дожевала последний кусок, облизнулась и повернула ко мне морду с таким достоинством, словно именно она помогла мне решить самую трудную задачу недели. Айла прибежала из-за угла с вёдрами, увидела пустую дверь, ахнула, достала дощечку и записала: «Девятое сентября, утро, закон съеден. Свидетели: Гюльнар и Амира, обе смеялись».

К девяти часам на площади появился Назим. Он нёс под мышкой новый свиток и тащил за собой молоток, который стучал его по колену. Заметив Изюм, писарь остановился шагов за пять и побледнел.

– Г-госпожа Сайрен, – начал он обречённо. – П-почтенный кади велел п-приколотить новый указ. Т-такой же, т-только… – он глянул на верблюдицу и понизил голос, – бол-лее прочный.

– Назим, – сказала я тихо. – Если вы хотите, чтобы ваша бумага дожила до обеда, вам придётся охранять её лично. Или прибить повыше.

– Я п-попробую.

Он встал на цыпочки, прижал свиток к доске, вбил первый гвоздь, потом второй. Изюм следила за ним с интересом, медленно перебирая жвачку, а потом потянулась длинной шеей вперёд, и бедный Назим, взвизгнув, выронил молоток прямо себе на ногу. Мы с Гюльнар хохотали так, что нас было слышно, наверное, у ворот цитадели, а писарь прыгал на одной ноге, вцепившись в косяк и бормоча что-то про справедливость.

– Простите, Назим, – выдохнула я, вытирая слёзы. – Это не над вами, честное слово. Просто у нас сегодня выдался странный день.

Я не знала тогда, насколько странным он окажется.

***

Днём в аптеку влетела Ширин. Не вошла, а именно влетела, растрёпанная, с мокрыми щеками, без обычных ямочек, платок сполз на плечи, а руки с красными пятнами щёлока дрожали так, что она не могла застегнуть кофту. Я бросила пестик в ступку и вышла ей навстречу.

– Госпожа Амира, ох, госпожа Амира, – всхлипывала она. – Камал кашляет. Всю ночь кашлял, а к утру начал хрипеть, я ему и молока с мёдом, и грудь растёрла, а он горит, как печка. Я не знаю, к кому бежать, Тахир на службе, лекарь в лазарете, а там, там уже одиннадцать человек лежит, я сама слышала, как они кашляют, всю стену слышно!

– Одиннадцать, – повторила я, и слово повисло в пыльном воздухе. Вчера, по словам Айлы, было семь. – Ширин, посмотрите на меня. Дышите. Где он сейчас?

– Дома, дома, дома лежит!

– Идёмте. Айла, остаёшься в лавке, никого не впускай, если не уверена, а я скоро вернусь. Мешок с чабрецом и пять склянок.

Дом сотника стоял у казарм, в десяти минутах быстрого шага. Шли мы почти бегом, и Ширин всю дорогу то хватала меня за руку, то отпускала, а у ворот казармы нам встретились двое солдат, которые поспешно отвели глаза и притворились, будто что-то чинят. Двор был пустым и душным, в воздухе висела мелкая пыль, пахнущая зерном и конским потом, а где-то со стороны северной стены глухо стучали молотки.

Камал лежал на тюфяке в углу, укрытый до подбородка одеялом, и хрипел так, что у меня сжалось в груди. Щербатый мальчишка, у которого вчера ещё была деревянная сабля, теперь лежал бледный, с красными пятнами на скулах, и смотрел мутными глазами на потолок. Деревянная сабля валялась рядом, и он гладил её рукой, не отпуская.

– Тётя Амира, – прошептал он. – Я не хочу пить молоко.

– Ну, молоко пить не надо, – согласилась я, присаживаясь рядом. – Покажи язык, воин. Я только посмотрю.

Язык у него был серый, как у Мунира. Это сказало мне больше, чем любая беседа с Идрисом. Я приложила ладонь ко лбу, он горел так, что хотелось отдёрнуть руку, и в эту секунду я поймала себя на мысли, которую раньше гнала: это не простуда и не летняя хворь, это что-то, что ходит по гарнизону из дома в дом, и я не знаю, что именно.

– Ширин, мне нужна жаровня, кувшин воды и самый большой котелок, какой найдётся, – сказала я. – И чтобы в комнате было как можно меньше пыли. Окна закройте, пол подмести влажной тряпкой. Вы не воин, Камал не воин, значит, мне можно.

Через десять минут котелок стоял на жаровне, в воде варились чабрец, полынь и корень солодки, и по комнате поплыл густой горьковатый пар. Кристаллы для ребёнка я тратить не стала: он не так тяжёл, а сухой жар от жаровни и крышка на котелке сделали своё. Я шептала над настоем слова, которым меня учил отец, хотя знала, что они работают, только когда говорящий в них верит, и пар стал сухим и горячим, как воздух над раскалённым камнем.

– Дыши глубоко, Камал, – сказала я. – Через нос. Это пахнет, как бабушкин сундук, но это хороший запах.

– У меня нет бабушки, – сказал Камал, но послушался.

Ширин сидела рядом, комкая платок, и плакала беззвучно. Я следила за мальчиком и считала про себя вдохи, чтобы не думать о самом плохом. Через двадцать минут хрип стал ровнее, через сорок на лбу выступил пот, а ещё через час он заснул, разжав пальцы на деревянной сабле. Я стряхнула с рук усталость, как пыль, и выпрямилась.

– Он будет спать до вечера, – сказала я. – Дайте ему тёплой воды, когда проснётся, и протрите грудь отваром, я оставлю склянку. Если станет хуже, прибегайте в любое время, ночью тоже.

– Госпожа Амира, – Ширин схватила меня за обе руки. – Я не знаю, как вас благодарить. Я столько про вас болтала, а вы…

– Ширин, – сказала я мягче. – Просто не болтайте, что у вас в доме пахнет полынью. Хорошо? Кади ещё не знает, что я лечу не только мятой.

Она закивала, потом замотала головой и улыбнулась сквозь слёзы, и в ямочках у неё опять проглянула прежняя Ширин.

***

Ночь я провела в каморке без сна. Через стену слышались шаги караула у ворот цитадели, лаяли собаки, где-то вдалеке пела женщина. Я лежала на топчане, смотрела в тёмный потолок и перебирала в уме то, что узнала за день: Мунир, его помощник, пятеро Идриса, одиннадцать

в лазарете, Камал. Всех этих людей объединяло только одно: серый язык, и ни один не болел раньше. Я пыталась вспомнить хоть что-то похожее в отцовских записях и не находила.

В два часа ночи в дверь тихо, но настойчиво постучали. Я накинула платок, подняла лампу и приоткрыла створку. На пороге стоял сотник Тахир, мокрый от пота, со шрамом на подбородке, который в свете лампы казался белой нитью. На плечах у него, согнувшись, висел парень в солдатской рубахе: голова запрокинута, оттопыренные уши прилипли к вискам, лицо серое, дышит с присвистом.

– Госпожа Амира, – прошептал Тахир, и из громкого весельчака он превратился в человека, у которого пересохло горло. – Простите, что так. Это Селим, рядовой второй сотни. Я его из казармы вынес тайком, пока дежурный отвернулся. Лекарь пускает кровь, а ему хуже. Он уже вчера пускал, сегодня опять хотел, я не дал, и мы с ним чуть не подрались.

– Хм, Тахир, вы знаете, что у меня указ на двери, – сказала я тихо. – Статья одиннадцатая. Воинам без покровительства лечиться у меня нельзя, а мне их лечить нельзя. Если кто-то увидит, я заплачу двадцать динаров, а вы получите выговор, и это в лучшем случае.

– Я знаю, госпожа, – ответил он и посмотрел на меня так, как смотрят люди, которым нечего терять. – Мне плевать на выговор. Это мальчишка, ему девятнадцать. Он поёт у нас по вечерам. Если он умрёт, мне придётся самому нести его матери. Вы же вылечили моего сына.

Я должна была отказать. Любой разумный человек на моём месте отказал бы, закрыл дверь и лёг спать. Я оглядела Селима, его полуоткрытый рот, пальцы, которые судорожно вцепились в рукав Тахира, и отступила в сторону.

– Несите на топчан, быстро. И закройте дверь на засов.

***

Я зажгла все лампы, развела огонь в жаровне и поставила на неё котелок, пока Тахир укладывал Селима и стягивал с него мокрую рубаху. Парень дышал часто и поверхностно, как рыба на берегу, глаза закатывались, губы потрескались. Я растёрла в ступке полынь, чабрец и корень солодки, залила кипятком, достала из мешочка кристалл, подержала его в ладонях и сказала себе: «Ну-ну, Амира, у тебя их пять, но после этого будет четыре, не трать зря». Но не потратить было нельзя.

– Ну-ну, Селим, не умирай мне тут, – сказала я, раздувая пар над котелком. – У меня на воинов запрет, а на покойников я и вовсе патента не имею. Так что давай-ка оба договоримся: ты дышишь, а я делаю вид, что тебя здесь нет.

Парень что-то хрипло пробормотал, и Тахир усмехнулся, хотя в глазах у него стояла тревога.

– А-а, он поёт, когда ему плохо, – сказал он. – Так всегда. Может, это он?

– Пусть поёт. Это значит, что он в сознании. – Я наклонила котелок так, чтобы пар шёл прямо к лицу больного, и прикрыла голову Селима куском ткани, как тентом. – Тахир, придерживайте его, чтобы не завалился. Первые минуты будет кашлять, не пугайтесь, это хорошо, значит, выходит всё, что внутри.

Кристалл вспыхнул, зашипела вода, и пар хлынул густой, горячий, сухой. Селим закашлялся тяжело, до слёз, потом ещё раз, и изо рта у него вышла серая мокрота. Я вытерла ему губы тряпкой, подставила миску, велела дышать носом. Часы шли, как капли в бочке. Тахир сидел у изголовья и поддерживал мальчишке плечи, а я меняла воду и подкладывала в котелок траву, чувствуя, как с каждым новым настоем у меня слабеют ноги и темнеет перед глазами. Магия не бывает бесплатной, а травница после большого настоя слабеет до вечера, и сегодня вечер у меня обещал быть длинным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.